Сербские поэты XX века

Комментированная антология

УДК 82-1.163.41
ББК 84 (4Юго)-5
С32



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект 11-04-16086д

Перевод с сербского

Редактор-составитель *А. Б. Базилевский*

Предисловие и очерки
А. Б. Базилевского, М. Л. Карасёвой

Рецензенты:
С. А. Небольсин, Й. Я. Станишич

С32 **Сербские поэты XX века:** Комментированная антология / Перевод с сербского; Ред.-сост. А. Б. Базилевский; Предисл. и очерки А. Б. Базилевского, М. Л. Карасёвой. М.: Этерна; Вахазар, 2011. 1104 с. — (Инст. мировой лит-ры им. А. М. Горького РАН). [Парал. стихотв. текст на серб. и рус. яз.]

ISBN 978-5-480-00255-3 («Этерна»)
ISBN 978-5-88190-058-8 (»Вахазар«)

Комплексное филологическое исследование, включающее историко-литературное введение, аналитические очерки, художественные тексты и справочно-библиографический аппарат. В антологии представлена развёрнутая панорама сербской поэзии XX века, широкий спектр её важнейших явлений. Серия статей-портретов крупнейших авторов в сочетании с их произведениями даёт связную картину развития национальной поэзии в эпоху интегрирующего синтеза. В книгу вошли — на языке оригинала и в русском переводе — наиболее значимые тексты, созданные на всём протяжении творческого пути поэтов. Свод научной и художественной информации, адресованный специалистам и широкому кругу читателей.

© Авторы текстов, 1860–2010
© Авторы переводов, 1906–2011
© А. Б. Базилевский, составление, статьи, 2011
© М. Л. Карасёва, статьи, 2011
© Издательство »Вахазар«, 2011
© Издательство «Этерна», оформление, 2011

ISBN 978-5-480-00255-3 («Этерна»)
ISBN 978-5-88190-058-8 (»Вахазар«)

Содержание

От редактора 7
Предисловие 9

Лаза Костич. Лаза Костић 22
Воислав Илич. Војислав Илић 50
Алекса Шантич. Алекса Шантић 78
Милета Якшич. Милета Јакшић 106
Йован Дучич. Јован Дучић 134
Светислав Стефанович. Светислав Стефановић 162
Милан Ракич. Милан Ракић 188
Владислав Петкович-Дис. Владислав Петковић Дис 214
Сима Пандурович. Сима Пандуровић 242
Велько Петрович. Вељко Петровић 270
Станислав Винавер. Станислав Винавер 294
Милутин Боич. Милутин Бојић 318
Иво Андрич. Иво Андрић 346
Милош Црнянский. Милош Црњански 374
Момчило Настасиевич. Момчило Настасијевић 402
Растко Петрович. Растко Петровић 426
Душан Матич. Душан Матић 450
Десанка Максимович. Десанка Максимовић 474
Радован Зогович. Радован Зоговић 506
Душан Радович. Душан Радовић 532
Васко Попа. Васко Попа 560
Мира Алечкович. Мира Алечковић 588
Бранко В. Радичевич. Бранко В. Радичевић 616
Слободан Маркович. Слободан Марковић 644
Стеван Раичкович. Стеван Раичковић 672
Миодраг Павлович. Миодраг Павловић 700
Изет Сарайлич. Изет Сарајлић 728
Бранко Милькович. Бранко Миљковић 756
Витомир Николич. Витомир Николић 784
Любомир Симович. Љубомир Симовић 812

Добрица Эрич. Добрица Ерић 840
Бранислав Петрович. Бранислав Петровић 868
Милован Данойлич. Милован Данојлић 896
Любивое Ршумович. Љубивоје Ршумовић 924
Матия Бечкович. Матија Бећковић 952
Радован Караджич. Радован Караџић 980
Райко Петров-Ного. Рајко Петров Ного 1008

Сербская поэзия XX века. Библиография 1036
Указатель авторов — Регистар аутора 1055
Указатель авторов переводов 1057
Регистар дела 1059
Указатель произведений 1077
Резиме 1096

От редактора

Авторы данной работы рассматривают антологию как важный жанр филологического исследования и исходят из традиции создания антологий славянской поэзии в России (Н. В. Берг, М. П. Петровский, Н. В. Гербель, Р. Ф. Брандт, В. В. Уманов-Каплуновский, Н. Н. Нович, С. Н. Штейн, А. Н. Сиротинин, И. Н. Голенищев-Кутузов). Создание антологии (книжной серии, коллекции, библиотеки) — метод критической интерпретации и демонстрации литературного процесса в его проблемно-жанровой динамике, совокупности тенденций и многообразии поэтик. Антология позволяет наглядно высветить многоликое единство литературы, её художественный масштаб, прояснить контекстуальные связи. Это эффективный инструмент взаимного сближения и обогащения культур, противодействия унификации культурного пространства. Творческая позиция антологиста, проявленная в выборе и представлении авторов и текстов, становится действующим элементом литературно-общественной жизни. При создании антологий активизируется перевод как фактор восприятия иноязычных литератур во всей полноте его просветительской и культуротворческой функции.

Среди известных разновидностей антологий: собрание шедевров, репрезентативный сборник (тематический, жанровый, окказиональный), хрестоматия, исследование с литературным приложением, — здесь избран последний тип, наиболее ёмкий и интересный.

Материал исследования — одна из самых богатых славянских литератур, тесно связанная с русской. В фокусе внимания — поэты, ценимые в Сербии и в мире. Антология задумана как общий том «избранного» лучших поэтов XX века, представленных наиболее значимыми текстами, созданными на всём протяжении их творческого пути. Показана развёрнутая панорама новой сербской поэзии, широкий спектр её важнейших явлений. Книга включает историко-литературное введение, аналитические очерки, художественные тексты, справочно-библиографический аппарат. Серия статей-портретов крупнейших авторов в сочетании с их произведениями (на языке оригинала и в переводе) даёт связную картину развития национальной поэзии в эпоху интегрирующего синтеза. Для всех поэтов антологии слово — откровение, а не забава. Уважая традицию, они обновили родную речь и снискали себе верных читателей. Все они — заметные личности сербской литературной жизни (что не означает, будто ими эта жизнь исчерпывается). Многими из них созданы первоклассные переводы мировой поэзии, в том числе русской.

Понятие XX века в литературе не совпадает с календарной хронологией: поэтический век начался (и кончился) раньше, чем историческое столетие. Все поэты, представленные в антологии, родились до 1945 года; позднейшие

во многом принадлежат уже другому времени, оценка их творчества впереди. Выбор поэтов — в соответствии с реальной картиной бытования сербского языка — не ограничен собственно Сербией: сербская, черногорская, боснийско-герцеговинская поэзия рассматриваются как многосоставное целое. Авторы работы солидарны с пониманием литературы как «критики идеологии» (П. Палавестра) и «альтернативной идеологии» (З. Константинович), придерживаются позиции научной беспристрастности в той мере, в какой это возможно в наши дни, когда диалог культур разворачивается в обстановке повсеместного пересмотра идейно-эстетических ценностей, обострения межцивилизационных конфликтов и лавинного нарастания пропагандистской лжи.

Исследование имеет целью восполнить существенный пробел в отечественном восприятии югославянских литератур, вводит в культурный обиход ряд ранее не известных у нас имён и произведений, благодаря которым сербская литература по праву занимает видное место в мировой культуре. В качестве свода научной и художественной информации книга адресована специалистам и широкому кругу читателей, интересующихся славянскими литературами.

Работа осуществлена в Отделе литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ им. А. М. Горького Российской академии наук. Авторы предисловия — *М. Карасёва, А. Базилевский*. Авторы очерков о поэтах: *М. Карасёва* (Лаза Костич, Воислав Илич, Алекса Шантич, Йован Дучич, Милан Ракич, Владислав Петкович-Дис, Сима Пандурович, Велько Петрович, Станислав Винавер, Милутин Боич, Иво Андрич, Милош Црнянский, Момчило Настасиевич, Растко Петрович, Душан Матич, Десанка Максимович, Радован Зогович, Васко Попа, Мира Алечкович, Бранко В. Радичевич, Миодраг Павлович, Бранко Милькович, Добрица Эрич); *А. Базилевский* (Милета Якшич, Светислав Стефанович, Душан Радович, Слободан Марькович, Стеван Раичкович, Изет Сарайлич, Витомир Николич, Любомир Симович, Бранислав Петрович, Милован Данойлич, Любивое Ршумович, Матия Бечкович, Радован Караджич, Райко Петров-Ного). Литературно-иллюстративная часть, биографические справки и библиография составлены *А. Базилевским*.

В оформлении использован сербский национальный орнамент.

Переводы, кроме отмеченных в «Содержании» *, приводятся по изданию: «Антология сербской поэзии» (Т. 1–3. М., 2004–2008).

Редактор-составитель выражает искреннюю благодарность за содействие в работе коллегам по институту, сотрудникам Сербской академии наук и искусств, прежде всего академику Предрагу Палавестре, сотрудникам Национальной библиотеки Сербии, Библиотеки Белградского университета, Библиотеки города Белграда, Библиотеки Матицы сербской, Городской библиотеки Нови-Сада, Национальной библиотеки им. Вука Караджича и Библиотеки университета в Крагуевце, Национальной библиотеки и Библиотеки университета в Нише, всем поборникам общего дела. Особая признательность — Мирьяне Булатович, работникам издательского отдела Сербской православной церкви и Йоле Станишичу за участие в допечатной подготовке сербского текста, а также издательству «Этерна», бескорыстно принявшему на себя труд по выпуску книги в свет.

Предисловие

В течение всего XX века Сербия вынуждена была, как прежде, отстаивать свою независимость, находясь в пограничном пространстве, между молотом и наковальней разнонаправленных интересов более сильных, агрессивных мировых держав. Страна веками упорно боролась за выживание и порой расширяла свои границы до пределов населенных сербами балканских земель, однако части ее территории вновь и вновь отторгались и переходили под власть соседей. Извечное пребывание на распутье, в зоне конфликта христианского запада и мусульманского востока, способствовало тому, что национальное сознание противилось упрощенной самоидентификации, искало нечто свое («третий путь»), призванное снять крайности ради достижения гармонии. Перед лицом внутренних противоречий и внешних угроз это сознание вынуждено было искать опору в разных традициях, его питали разные, трудносовместимые источники. Метания между «своим» и «чужим», между импульсами и соблазнами, идущими извне, и собственными национальными и наднациональными задачами наложили существенный отпечаток на весь ход сербской истории. Обострённое чувство исторического достоинства вселило в сербов высокие героические идеалы, сделало их восприимчивыми к идеалистическим философским концепциям, в духовных поисках часто заставляло опираться на такие надличностные понятия, как «народ», «земля», «почва», «национальная идея».

Сербская поэзия развивалась в тесной связи с многосоставной традицией порождающей ее культуры — разомкнутой, подверженной многим внешним воздействиям. В разные периоды истории Сербия была включена в разные культурные ареалы: с древности до XVIII века — преимущественно в византийский, затем, вплоть до наших дней, — в русский и западноевропейский. Пятивековое османское иго (XV–XIX века) и упорная австро-венгерская экспансия (XVII — начало XX века) стали причиной того, что сербы поддерживали свою культурную идентичность, бережно сохраняя старое духовное наследие и создавая богатый и своеобразный фольклор (в том числе юнацкие песни, воспевающие неравную борьбу с захватчиками). Две традиции — церковно-письменная, просветительская, с ее приверженностью историзму и дидактизму, острым чувством коллективной судьбы народа, и устно-поэтическая, пронизанная героическими идеалами и столь же преданная славянству и сербству,

как первая, — не противоречили одна другой, жили словно бы параллельно и в культурном пространстве занимали особые ниши.

В XVIII веке ориентиры сербской культуры постепенно менялись. Стремление создать собственное национальное государство переместило центр тяжести культурного сознания с традиционной консервативности на динамизм и ускоренную интеграцию в круг прочих европейских народов. Литература живо воспринимала идущие из Западной Европы и России импульсы, постепенно приобретала светское измерение, вырабатывала новый литературный язык (сперва это был так называемый русско-славянский, затем славяно-сербский, более близкий к национальной почве). Был быстро пройден путь от барокко (восходящего к ренессансной дубровницкой литературе) до Просвещения и сентиментализма. Сербские просветители второй половины XVIII века (Захария Орфелин, Досифей Обрадович) открыто требовали переориентации национального искусства с традиционного византизма на античные, прежде всего древнегреческие, и современные европейские, в том числе русские, образцы. В начале XIX века национальный подъем страны знаменовала собой предромантическая поэзия «объективного чувства».

Краеугольным камнем культурного возрождения стала реформа литературного языка, проведенная Вуком Караджичем в первой половине XIX века. В основе языка национальной культуры, по мнению реформатора, должна была лежать народная разговорная речь. Караджич нашел ее в устной поэзии, как в чистом источнике, не замутненном внешними заимствованиями. Народные песни он рассматривал как национальную классику, а церковнославянскую письменную традицию отвергал как «несербскую» или «только по видимости сербскую». Одним из важнейших последствий этого стал отход литературы от прежней, церковно-культовой и дидактико-просветительской формы бытования и переход ее в область светской «изящной словесности», имеющей непосредственное отношение к сфере прекрасного, возвышенного и воображаемого. Впрочем, византийская традиция никуда не исчезла: сохранив свои позиции в области религии, она продолжала оказывать влияние на все сферы народной жизни, в том числе на литературу.

В поэзии реформа Караджича сыграла принципиальную роль. Стиль и формы поэзии оставались эпическими и фольклорными еще много десятилетий и, хотя неоднократно оспаривались, в основе своей были непоколебимы до XX века. Главной стиховой системой была силлабическая (подвергавшаяся незначительным силлаботоническим модификациям), главным размером — эпический десятисложник с восьми- и двенадцатисложными вариациями стихотворных строк. Ведущим поэтическим направлением весь XIX век оставался героико-патриотический романтизм, который отвечал задачам национального возрождения и способствовал духовному подъему общества. Виднейшие из сербских поэтов-романтиков: Петр Петрович Негош (1813–1851), Бранко Радичевич (1824–1853), Джюра Якшич (1832–1878), Йован Йованович-Змай (1833–1904). Особен-

ность их творчества — глубокая связь с отечественной дидактико-просветительской словесностью XVIII века и русской реалистической литературой.

К концу XIX века в Сербии, уже свободной от турецкого владычества, начался экономический и культурный подъем, обусловивший перестройку всех сфер жизни. В обществе сложилось зрелое гражданское и культурное сознание. Стремление встать вровень с остальной Европой, в полной мере приобщиться к ее культуре, раздвинуть рамки регионализма было столь велико, что старая, «вуковская», поэтическая школа с ее неизменным фольклоризмом, героизацией старины и опорой на вдохновенный дилетантизм отчасти перестала отвечать запросам общества. Бессменно стоящая на страже национальных интересов традиционная поэзия перед лицом новых социально-политических испытаний обнаружила недостаточность своих возможностей. Назрело расширение спектра переживаний, тематики, освобождение от нравоучительности, от просветительски-утилитарных принципов. За литературой признавалось право быть особой, сугубо автономной сферой человеческой деятельности.

Исход XIX столетия — начало «золотого века» сербской поэзии. Появились новые поэты европейского уровня: Лаза Костич (1841–1910), Воислав Илич (1862–1894), Алекса Шантич (1868–1924), чуть позже — Милета Якшич (1869–1935), Йован Дучич (1872–1943), Милан Ракич (1876–1938). Особенностью литературной жизни стали нескончаемые споры между «традиционалистами» и «модернистами» об эстетических функциях искусства, которые оказались сопряжены с горячими общественно-политическими проблемами и аккумулировали в себе смыслы, далекие от чисто художественных. Идущие с запада веяния «нового искусства» (ар-нуво, югендстиля, сецессии) воспринимались в Сербии обобщенно, вне программной конкретики, как признаки неудержимого и тотального обновления всех сторон жизни. Стихийный сербский модернизм (аналогичный программно оформленному «хорватскому модерну») выразился в хаотичном смешении разных, часто антагонистических качеств. Национальное воодушевление соседствовало с социальным пессимизмом, уходом в субъективизм, а рационализм и позитивизм — с чертами символизма и декадентства.

Поэзия жадно вбирала мировой опыт, стремилась вырваться на просторы межкультурных взаимодействий, за пределы национальной проблематики, — а потом возвращалась к ней, не в силах преодолеть тяготение укорененных в культуре матриц. «Модернисты» не совпадали в политических мнениях с «традиционалистами» и «почвенниками», однако каждый взваливал на себя груз поисков истины, выполняя роль правдоискателя, подвижника, народного трибуна и плакальщика, «воина пера» — словом, «совести нации». На протяжении XX века каждое новое поколение — движимое противоречивыми побуждениями — начинало с отрицания опыта и достижений «отцов», принималось с мессианской верой в себя строить «новую» культуру. Главные баталии разыгрывались по по-

воду патриотичности эстетических основ современного искусства и их соответствия национальному характеру. Противостояние между поэзией «исповедальной», «органической», «песенной», «аутентичной», с одной стороны, и поэзией «программной», «умственной», концептуальной, амбициозной с другой, в Сербии приняло обостренные, выходящие за рамки искусства формы.

В спорах немалую роль играла критика, авторитетные представители которой стали духовными вождями молодежи и «властителями дум» образованного общества. Особая роль в становлении критического самосознания сербской литературы принадлежит Лазе Костичу. Он вел изыскания в области античной и народной поэзии и сделал попытку создать всеобъемлющую эстетическую теорию, «скрещивая» национальную и общеевропейскую традиции. Эссеистика Костича, родившаяся в противовес профессиональной критике, была подчеркнуто субъективна и импрессионистична. Вместе с Воиславом Иличем он стал провозвестником новой поэтической эпохи — открыв XX век до исхода календарного XIX. Поэзия Илича, спонтанная, не подкрепленная теориями, была особым, опережающим явлением рубежа веков. В ней соединилась возвышенная надмирность, острое мистическое чувство, нервная метафорическая ассоциативность с объективной реалистичностью выражения. С «воиславизмом» в сербскую поэзию вошел «чистый» символистский дух, творческое «парение» и меланхолические медитации.

Основателем новой литературной критики считается Любомир Недич (1858–1902), который отверг господствовавшую до него «естественную» (биографически-психологическую) и «реальную» критику и ввел «имманентные», собственно эстетические критерии. В книге «Из новой сербской лирики» (1893) он дал уничтожающие характеристики известных поэтов, столпов «вуковской» традиции, отказывая им в таланте, а их произведениям — в содержательности и выразительности. Авторитарный натиск Недича сыграл роль в сотрясении основ и перестройке поэзии на новый лад.

Богдан Попович (1863–1944) — издатель фундаментального журнала «Српски книжевни гласник» («Сербский литературный вестник», 1901–1941) — отстаивал идеальный «филологический позитивизм», считая, что искусство должно быть выражением «порядка и гармонии». Его знаменитая «Антология новой сербской лирики» (1911) составлена в согласии с требованием совершенства «всего произведения в целом». «Эталонный образец» своих принципов — блестящее владение версификацией и удачное перенесение на сербскую почву иноевропейских стилей — Попович видел в творчестве Дучича и Ракича, чья поэзия знаменовала собой высокий, элитарный модерн. «Српски книжевни гласник» ратовал за обогащение отечественной культуры в рамках четкого национального курса. В поэзии он выступал за раскрепощение чувств, лирику ясных тонов, звучной гармонии и формальной упорядоченности. Впрочем, «Гласник» знакомил читателей со многими зарубежными «декадентами» и «проклятыми» поэтами. Он стал главным идейным центром серб-

ского модерна, проводником новейших течений. Вокруг журнала объединились выдающиеся авторы, разделявшие его наступательную культурно-миссионерскую позицию.

Йован Скерлич (1877–1914), редактировавший «Гласник» вместе с Поповичем, в своей критике опирался на «вуковскую» демократически-утилитаристскую традицию. Он отстаивал идеи «нравственного здоровья» и духовного возрождения народа. Ему были близки задачи утверждения ценности человеческой личности, освобождения искусства от устаревших шаблонов. Однако метафизическая устремленность современной литературы, ее «предчувствия», блуждания «меж явью и сном», неврозы, экстазы, кошмары подсознания казались Скерличу «лицедейством», «туманом в голове» и «литературной заразой». Воззрения Скерлича, тяготея к реализму, включали в себя сложный спектр виталистских, романтико-утопических и символистских идей. Скерлич открыл читающей публике многих выдающихся поэтов близкого ему склада.

Старшее поколение поэтов модерна: Светислав Стефанович (1874–1944), Стеван Лукович (1877–1902), Даница Маркович (1879–1932), Владислав Петкович-Дис (1880–1917), Сима Пандурович (1883–1960), — впитывая гремучую смесь бунтарских интеллектуальных и духовных движений своего времени, погружаясь в мир русских, французских, скандинавских и немецких модернистов, искало новые ориентиры. Поэты тяжело переживали отчужденность и опустошенность современного человека, противоречивость его судьбы. Их поэзия вырастала из чувства экзистенциального страха, одиночества и смятения, говорила о жестокости и неумолимости жизни, о смерти как единственном пути к блаженству и счастью. Уход в субъективность помогал им сохранить ту свободу, которой в реальной жизни они не находили. Исторические события не способствовали долгому цветению сербского «золотого века».

После австро-венгерской аннексии Боснии и Герцеговины (1908) в сербском общественном сознании актуализируется «видовданская» мифология, восходящая к временам, когда рождался национальный героический эпос. Накануне Балканских войн эта сербская окраина, где действовала освободительная организация «Молодая Босния», была очагом противодействия возрастающей иностранной экспансии и оплотом борьбы за югославянское объединение. Выходящий в Сараеве журнал «Босанска вила» («Боснийская фея», 1885–1914) стал авангардной трибуной всего региона, говорящего на сербскохорватском языке, центром, привлекающим художников из всех южнославянских стран и областей, рупором протеста против культурной колонизации. «Босанска вила», ниспровергая элитарную буржуазную культуру, объявила войну «литературному синоду» столичных эстетов. В ней печатались молодые поэты, ставшие затем главными действующими лицами сербской литературы. Редактор журнала, поэт Димитрие Митринович (1880–1953), опубликовал здесь первый сербский манифест футуризма — «Эстетические размышления» (1914).

Слёзки песницы XX века

ЛАЗА КОСТИЧ. ЛАЗА КОСТИЋ

Поэт, прозаик, драматург, эссеист. Родился 31 января 1841 в селении Ковиль близ Нови-Сада (Воеводина, Австро-Венгрия) в семье офицера австрийской армии. Переводил поэзию и драматургию с древнегреческого (Гомер), английского (У. Шекспир), французского (Ж.-Б. Мольер), немецкого (Г. Гейне). Учился в австрийских гимназиях в Нови-Саде, Панчеве и Будапеште. Окончил юридический факультет Пештского университета, защитил докторскую диссертацию по юриспруденции. Служил гимназическим учителем латинского и немецкого языков, нотариусом в магистрате, адвокатом, судьей, был сотрудником многих литературных и политических журналов, редактором нескольких газет. Деятель сербского национального движения, участник тайных организаций; дважды подвергался тюремному заключению. Был секретарем сербского посольства в России, советником черногорского князя Николая I. Действительный член Сербской академии наук и искусств. Умер 26 ноября 1910 в Вене (Австро-Венгрия).

Книги поэзии: Песме (1–2, 1873–1874); Песме (1909). Важнейшие собрания поэтических произведений: *Антологија Костић* (1923); *Песме* (1940); *Песме и драме* (1951); *Одабрана дела* (1–2, 1962; 1972); *Изабрана дела* (1963); *Песме* (1973; 1975; 1984; 1989; 1993); *Песме* (1989); *Песме* (1–3; 1991); *Песме* (2005). Поэзия издавалась в переводе на русский язык.

Лаза Костич — поздний романтик на пороге модерна, человек духовно независимый, свободомыслящий и упрямый, всецело погруженный в творчество. Он откликался на «музыку сфер» и был убежден, что искусство обладает абсолютной, жизнеустроительной ценностью. Творчество его отличалось внутренней сосредоточенностью и неподвластностью художественным вкусам эпохи. Широкая эрудиция, феноменальная память, чувство «всемирного гражданства» помогали ему проникать сквозь толщу веков и пространств, но оставаться пламенным патриотом. Он погрузился в «магию» родного языка, интуитивно прочувствовал многозначность и поэтическую силу его звучания, разглядел за прагматикой повседневной речи глубины и тайны, неведомые прежней поэзии. Образную стихию своих произведений и субъективность восприятия жизни поставил выше реальности, поэтому оказался не понят многими современниками, последователями рационально-отвлеченного романтизма и столь же рационального реализма. Поэтам XX века музыкальность его стихов оказалась близка, многозначность, беспрепятственное взаимопроникновение в них идеального и материально-чувственного были восприняты как предвосхищение новейшей поэтики.

Костич воспевал космос, в котором «звезды сходят со своих путей», повинуясь желаниям человека, а катаклизмы вселенского масштаба происходят по причине страстных порывов людей к любви и объединению, к уничтожению земных и телесных оков. Он чувствовал динамизм и диалектичность мира, его неустойчивость и текучесть. Антифония, преодоление противоположностей — основа его мировоззренческой и художественной позиции. Не претендуя на оригинальность, поэт назвал ряд имен поэтов и мыслителей, которые казались ему близкими по духу, чьи идеи он считал основополагающими для собственных взглядов на искусство. Среди них: Гомер, Эмпедокл, Анаксагор, Гераклит, Шекспир, Шопенгауэр, Фихте, Гете. Главным, что ценил у них Костич, была идея вечного движения, столкновения противоположных начал, красоты как динамического соединения и гармонизации противоположностей.

Вечное движение материи и духа к всё более симметричным и гармоничным формам, считает Костич, обуславливает закон «скрещения». Красота — высшая степень «скрещения» противоположностей, и этим подтверждается тождество онтологии и эстетики. Искусство — вечное обновление, «вторая природа», а художник, как мудрый садовник, своим мастерством и знанием помогает расти природному растению. Художественное произведение — движущаяся картина мира в малом объеме. Чем противоположности сильнее, тем ярче линия их борьбы. Костич называл это «поэтическим рембрандтизмом», считая, что гармония проявляется в дисгармонии и контрасте. Его мысль и творчество развивались в параллель, а иногда и в предвосхищение современных ему парнасских и символистских течений в искусстве. Принцип «скрещения» проявлялся и в драмах, и в стихах Костича, и никакая внешняя критика, всю жизнь преследовавшая его за «своеволие» и «невнятицу», не смогла поколебать его убеждений. Он черпал из всех родников, которые казались ему подходящими, потому что, по его мнению, «кристаллизация» языка следует принципу «живой гармонии», совершается по «закону привлечения и отталкивания, который целому свету дает жизнь».

Крайне важны для Костича древнегреческие образцы. Знаток классической древности, он следовал за любимыми авторами, пытаясь перенять у них взгляд на мир, который «уравновешен» противоборствующими началами. В его произведениях множество явных переводов, переносов, калек, новых терминов, смоделированных по древним образцам. Разнообразие форм помогало выразить сложные, логически выстроенные мысли, соединить разные культурные пласты, для объединения которых лексических средств современного поэту сербского языка не хватало. Глубинное качество эллинизма Костича — принципиальное отталкивание от всего, что относится к римской цивилизации, противопоставление ей ценностей греко-христианских. Римское начало, а затем и романское, представлялось ему тяготеющим к материальности, сомнительным с точки зрения духа: у западных народов «корысть в самом начале потеснила красоту». Зато славянским народам издревле свойственно

чувство «неутилитарной красоты», по которой можно судить об их взглядах на мир.

Поэтическое наследие Костича составляет три книги стихов. Между двумя первыми и последней — более тридцати лет, за это время мастерство поэта приобрело отточенность и блеск. Поначалу Костич писал стихи, исполненные боевого духа, оптимизма и веры в победу: о любви к родине, о национальной свободе и социальной справедливости. Вскоре он расширил тематику, считая, что сербской словесности необходимы «прививки» из других литератур, «более развитых, гордых, упорядоченных». В поэзии он проявил себя как эрудит, знакомый с историей, этнографией, языковыми, культурологическими и естественно-научными концепциями своего времени. Творческая свобода позволяла ему экспериментировать с формой, прибегать к необычным тропам и оборотам, к прихотливой метафорике, соединять стили, контрастность которых способствовала динамизму композиции, цельности и пластичности поэтических картин, одухотворенности перспективы.

Излюбленная стихотворная форма Костича — большое лирическое стихотворение философско-медитативного характера. Поэт создавал собственную поэтическую космогонию, близкую романтической с ее вселенскими атрибутами — солнцем, луной, звездами, но имеющую яркие индивидуальные черты. Вселенная неизменно представлялась поэту ледяной пустыней, солнце — «сердцем Божьим», эту пустыню согревающим, луна — «шелковым веером», охлаждающим душу, обмахивающим «любовь с лица», а звезды двигались «одинокими путями вечного суда», с которых их могла столкнуть только любовь. Поэтическая вселенная Костича объемна, в ней органично присутствуют религиозные атрибуты в их прямом значении посредничества между небом и землей. Философское видение мира придает его творчеству строгость, многомерность и глубину, хотя иногда метафоры приобретают болезненную утонченность и невнятную субъективность, произведения кажутся рассудочными. Порой даже возникает впечатление, что Костич писал ради неожиданного эффекта, во имя принципиальной установки на ироническую игру со странностями и парадоксами. Возникала поистине барочная пластика, которая любую абстракцию превращала то в полнокровный образ, то в аллегорическую картину.

Во многих стихах поэт множит метафоры «скрещения» в человеке разных начал: «болота» и духа, красной крови и черной (венозной), «груди» и «нижней утробы», «альфы и омеги». В поэтическом манифесте Костича «Между явью и меж сном» речь идет о вдохновении как состоянии «не сна и не яви», но чего-то третьего, что присуще только творцам: вне этого состояния сам поэт уже не может разобрать рисунок сплетенного им «кружева». Когда человека настигает вдохновение, он словно расстается с телом и переходит в область чистой душевности: произведение искусства возникает в борьбе между сердцем и разумом, между воображением, интуицией и сознанием. Несмотря на перенасыщенность некоторых текстов

стилевыми элементами, призванными усилить эмоциональную и риторическую выразительность, наряду со стихами, рассчитанными на эффект, у Костича много других, бесхитростно напевных и абсолютно искренних. Возлюбленная в его стихах отождествлялась с вилой, феей славянских поверий. Она играла роль музы и служила символом душевных состояний поэта, его стремления к дематериализации, «ускользанию» от «внешних» обстоятельств.

Последнее стихотворение Костича «Santa Maria della Salute» — пятнадцать октав с рефреном, вынесенным в заглавие, — заключает в себе в сжатой, рафинированной форме многие особенности его творчества в целом. При жизни автора оно замечено не было, зато посмертно поднято на пьедестал как блистательный венец эпохи сербского романтизма. Поводом для стихотворения была поздняя любовь поэта к молодой девушке, которая в 1895 году неожиданно умерла (до конца своей жизни поэт вел на французском языке дневник посмертного общения с возлюбленной). Лирический герой перед моральной дилеммой: имеет ли он право на эту любовь? В тяжелой борьбе «мозга и сердца, разума и вожделения» победил мозг, который «мудро» (а в сущности, «глупо») решил бежать от счастья. Возлюбленная умерла, для поэта наступил «конец света» и «страшный суд». В ответ на отказ от любви «помрачаются солнца... гаснут звезды, рай ударяется в плач…». Образ утраченной любимой женщины соединен с мотивом всемирной тоски и возвышенной, неземной красоты. Свою «лебединую песню» Костич вынашивал десятилетиями, а писал больше десяти лет. В ней он достиг кульминации своего творчества: мелодического совершенства, высокой упорядоченности динамической композиции (построенной как восхождение к небу), сложной взаимосвязанности символических значений, знаменующих постепенное одухотворение страданий, их преображение в восторг.

Образ Богородицы появлялся в стихах Костича в течение всей жизни. Он то уравнивал культ Девы Марии с «католическим мадонизмом», то видел в ней идеальную женщину, вечную Матерь Мира, в образе которой соединились «тот» и «этот» миры, богоматерь и реальные женщины, его музы и возлюбленные. «Santa Maria della Salute» стала знаком возвращения мятежного вольнодумца в лоно церкви, его примирения с миром. Поэт пережил драматическую эволюцию: от вдохновенного романтизма и экзальтированной борьбы за права сербов, через отчаянный скептицизм, до христианской мистики. Бунтарь, он искал новые пути, фантазию и вдохновение ставил выше действительности, соединил творческий процесс с его теоретическим осмыслением, создал впечатляющие символические образы, открыл новые значения и звучность поэтического языка, ввел в сербскую поэзию ямб и свободный стих, тонкую оркестровку на основе смешения и преодоления разных стилей. В XX веке его творчество вошло в золотой фонд сербской литературы, а сам поэт стал считаться зачинателем художественных течений нового столетия.

М. Карасёва

Снове снивам...

Снове снивам, снујем снове,
снујем снове бисерове,
у сну живим, у сну дишем,
ал' не могу ситне снове,
не могу их да напишем.

Снове снивам, снове снујем,
у слике бих да их кујем,
ал' су санци полетанци,
не могу их да прикујем
срцу моме лаганоме.

Ал' наслони на те снове
твоје груди бисерове,
две ледене бисер капи:
та би студен смрзла снове,
све те слике следила би.

Прометеј
[Одломак]

На камену високом прикован
у окову се поноси титан,
поругљивим се баца погледом
на Олимпос, на душмана му дом.
На Олимпосу је пировање, част,
међ боговима њему у пропаст;
пехарима се златним куцају,
од откуцаја горе пуцају,
а човек бежи неда'нимице
у гудуре, у мрачне станице;
ал' не дршће Прометеј, не дршће титан
на камену, на станцу прикован,
већ оковима бије о стење,
о стењу пршти сужно прстење,
а из грла се ори грдан смеј,
та доста грдан да га чује Зеј!
То воле људи, воле робови,
ал' Зеј се стреса, Бог над Богови';
стаде му реч у грлу узану,
напитак му на усни усану,
из божје руке пехар испусти,
од пехара се море запљушти,
те бурним валом гњева студена
запљускује титану колена; —

Снятся сны...

Снятся сны мне, сны-грустинки,
сны грустинки-бисеринки,
я во сне живу, дышу,
эх, бесплотные картинки,
я уж вас не запишу.

Снятся сны мне, снятся сны,
брехуны да летуны,
мне их в плоть не заковать,
в памяти не удержать,
никогда не запоёт сердце тихое моё.

Но падёт на эти сны
пара капель ледяных,
грудь твоя — жемчужный лёд —
стужей заморозит сны,
все картинки льдом скуёт.

Прометей
[Фрагмент]

К скале-горе прикованный титан
кричит с насмешкой Зевсу: «Эй, ты там!
Тучегонитель! Знай же, для меня
твои грома — что щепки для огня!»
А на Олимпе пир идёт горой,
льстецы жужжат, как тот пчелиный рой.
В самом разгаре пьяная игра,
от звона кубков дрогнула гора.
И смертные, в испуге и тоске,
укрытья ищут в дальнем далеке,
бегут в ущелья, в тёмные леса,
с тревогою глядят на небеса.

Лишь Прометей, прикованный к скале,
хохочет громко в обступившей мгле.
И цепь из меди, за кольцом кольцо,
упрямо плющит, отерев лицо.
Раб стерпит всё, права его малы,
но Зевсу ли терпеть его хулы!
И рассердился над богами бог,
швырнул на землю молнии клубок
и в раздраженье кубок уронил.
И вот река, широкая как Нил,
на Прометея хлынула с горы,
сметая все пастушечьи шатры.

ал’ не дршће Прометеј, не дршће титан,
на камену, на станцу прикован!
Из грла му се опет ори смеј,
и опет дршће силни боже Зеј!
У титанину море мисли ври,
узаврели му осећаји сви,
ал’ везан је Прометеј, везан је титан,
на камену, на станцу прикован,
те не мож’ сила мисли врелије
стеновито да чело прелије,
да разаспе по земљи благослов,
а у небо да дигне потоп нов,
и борбу правде, борбу поноса,
прот силе саме, прот Олимпоса!
Ал’ слути Зеј грозовит потоп тај,
прислушкује му манит запљускај,
и опет стрепи неустрашив Зеј,
и опет онај титанинов смеј!
И Зеј већ види слободан свој плен,
разнето небо, Олимп потопљен,
и себе сама милост просећа,
већ ледне вале к’о да осећа, —
потресло га је, задрхт’о је скроз,
у колених му чисто зимогроз,
и још титански тај подругљив смеј —
да силан роб! ох, да сиромах Зеј!
У страху Зеј са стрепна колена
свог орла шиље глађу морена,
да једе роба, да му вади плућ,
нек с’ онда смеје Богу с’ ругајућ!
И оде ор’о зраком пливајућ
и стаде јести титанску му плућ;
ал’ чим нарасте — опет онај смеј,
ниједна реч, већ смеј и опет смеј —
да пукне силан од љутине Зеј,
де њему смејом пркоси јунак,
а он још на то свој да даје зрак!
Ал’ зна то јунак, знаде то титан,
зато се смеје сужањ, прикован,
та зато поруга, та зато смеј,
и зато грми од љутине Зеј!

Певачка ’имна

Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,

И гнев, что Зевс в груди своей копил,
со всех сторон титана обступил.

А Прометей, прикованный к скале,
хохочет громко в обступившей мгле.
И этот смех — опаснее, чем яд,
и грозный Зевс тревогою объят.
Как утишить, как усмирить врагов,
ведь смех титанов — это смерть богов.
И мысль его, тревожна и горька,
уже прошла сквозь годы и века.
И видит он, чем кончилась война,
и слышит он, как плещется волна.
Размыт Олимп — священная гора,
гуляют над пустынею ветра.
И времени могучая река
прихлынула к нему издалека.
И видит он себя за той рекой,
стоящего с протянутой рукой.

А Прометей, прикованный к скале,
хохочет громко в обступившей мгле!
О, этот смех вчерашнего раба!..
Как жизнь непредставима и груба.
И бог богов сгоняет хмурь с чела
и шлёт к скале голодного орла:
чтоб там орёл дневал и ночевал,
чтоб печень нечестивцу исклевал.
Пусть болью он исходит кровяной,
не будет насмехаться надо мной.

А Прометей, прикованный к скале,
хохочет громко в обступившей мгле!
Стоит, главы пред богом не клоня,
принесший людям веточку огня.
Кричит с усмешкой Зевсу:
«Эй, ты там!» —
К скале-горе прикованный титан.
И смех его, река без берегов,
перекрывает вечный смех богов.

Певческий гимн

Певец Иоанн, возводи
музы́ки святую обитель,
за нотою ноту клади,

у слусима нек потоне
несносив очиглед!

У темељ *бас* нек удри стен,
подривљив неимаре,
нек буди многу тужну сен
из костурнице старе,
да махне мошти, — успомен
да носи пред олтаре!
Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!

Баритон мушки нека зид
за светилиште гради,
у непроглед, у непрокид,
незваној неверади,
а ступове у недовид
слободи, вери, нади!
Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!

А свод нек диже *тенор* смео,
к'о руке кад се здруже,
у молитви се Богу свео
за нездружене душе,
довршит храм да пусти цео
ил' — и то нека руше!
Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,
обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!

Ал' омладино, гласе мој,
на вршку ти ми чуј се!
Ти јабуку, Адамов плод,
узнеси на врхунце,
ил' место ње нек млади пој
допоје с неба сунце! —
Гласова певче, Јоване,
свој храм обнови свет,

за песнею песню веди
в свой солнечный храм, небожитель!

Пусть ляжет в фундамент скала —
творение зодчего — *баса,*
тверда, словно клёкот орла
в тумане рассветного часа.
Пусть копит алтарная мгла
печаль ясноглазого Спаса.
Певец Иоанн, возводи
музыки святую обитель,
за нотою ноту клади,
за песнею песню веди
в свой солнечный храм, небожитель!

Пусть стены кладёт *баритон*
согласно божественной мере,
у входа возводит пилон
и стаю летящих колонн —
к свободе, надежде и вере.
Певец Иоанн, возводи
музыки святую обитель,
за нотою ноту клади,
за песнею песню веди
в свой солнечный храм, небожитель!

Пусть *тенор* отважный в конце
возводит шатровую крышу,
в её рукотворном кольце
молитва пусть рвётся всё выше.
Пусть думают все о творце,
сладчайшее пение слыша.
Певец Иоанн, возводи
музыки святую обитель,
за нотою ноту клади,
за песнею песню веди
в свой солнечный храм, небожитель!

Божественной юности глас,
на самой вершине раздайся,
в указанный Господом час
во власть песнопенья отдайся,
на самом верху разрыдайся
от счастья, о юности глас!
Певец Иоанн, возводи
музыки святую обитель,

обнови песме потоње,
у слусима нек потоне
несносив очиглед!

Стварање света

Бог је сков'о сунце
од сувога злата,
ковницу голему
небесних дуката;

Бог је сков'о звезде,
ситне сребрњаке,
Бог је сков'о месец,
талир међ петаке;

Бог је сков'о земљу,
потуру велику,
приков'о је на њу
своју царску слику.

То големо благо,
овејану славу,
закључ'о је тврдо
у кутију плаву; —

час по час отвара
ту кутију света,
а кад год отвара,
потуру загледа.

Ej, несрећо...

Ej, несрећо земљо,
ти блудницо светска,
пунија си греха
него што си песка.

Та то нису горе,
то планине нису
што се тамо модре
у големом низу;

већ маснице то су
твога грешног тела,
Бог је тебе шиб'о
за прецрна дела.

за нотою ноту клади,
за песнею песню веди
в свой солнечный храм, небожитель!

Сотворение мира

Бог выковал солнце
из чистого злата —
монетный двор
небесных дукатов;

Бог выковал звёзды —
горсть медяков —
и месяц — талер
среди пятаков;

Бог выковал землю,
монету великую,
на ней отчеканил
свой царский лик он.

И это сокровище,
славу и силу
накрепко запер
в шкатулке синей:

порой отворяет
шкатулку света;
когда отворяет —
глядит на монету.

Эх, несчастная...

Эх, несчастная земля,
блудница мирская,
ты полна грехов,
как песка.

Это ведь не горы,
не вершины,
то, что там синеет
в ямах-низинах,

а кровоподтёки
грешного тела:
Бог тебя выпорол
за чёрное дело.

Летећи по свету
у мукама љутим,
маснице си гнојем
нагнојила жутим;

маснице су много
примамиле псето,
да ти лижу тело,
рањаво, проклето.

Они лижу твоје
скупоцено блато,
лижући се теше:
то је, веле, злато.

Ej, несрећо земљо,
ти блудницо светска,
пунија си греха,
него што си песка.

Звоно

Звоно, звоно мало,
што те, звоно, боли,
те се тако тужно
разлежеш по доли?

И моје је срце
зазвонило јако,
по моји' се груди'
разлеже једнако.

Срце моје звони
од тешкога клатна,
то је клатно тешко
њена слика златна.

Међу јавом и мед сном

Срце моје самохрано,
ко те дозва у мој дом?
неуморна плетисанко,
што плетиво плетеш танко
међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце лудо,
шта ти мислиш с плетивом?

И летя по свету
в муке постылой,
синяки ты гноем
жёлтым нагноила;

эти раны многих псов
приманили,
плоть проклятую они
лизали и выли.

Лижут псы твою грязь
и скулят от голода,
лижут и ликуют:
это, мол, золото.

Эх, несчастная земля,
блудница мирская,
ты полна грехов,
как песка.

Колокол

Колокол, колокол маленький,
что у тебя болит?
Зачем же ты так печально
разносишь звон по долине?

И сердце моё нечаянно
полнится гулким звоном,
в груди моей звон отчаянья
поёт-гудит монотонно.

Сердце моё звонит,
колокол тяжко бьёт,
в этом звоне звучит
лик золотой — её.

Между явью и меж сном

Моё сердце, мастерица,
кто позвал тебя в мой дом?
сны плетёшь неутомимо,
кружева твои незримы
между явью и меж сном.

Сердце бедное, что станет
с этим кружевом потом?

к’о плетиља она стара,
дан што плете, ноћ опара,
међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце кивно,
убио те живи гром!
што се не даш мени живу
разабрати у плетиву
међу јавом и мед сном!

Дим

Лулу пије Селим-паша,
љуби ћилибар,
уза њ љуби кауркињу,
свако по типар.

Задимио Селим-паша
нештедимице,
на прозору дим се вије
чак до гредице.

Дим на стаклу тамно пише
чудновати шар,
мрке брке, мор-доламе,
дуги џевердар.

«Погле, пашо, што се дело
на врх горама? —
мрки брци, мрко чело,
мрка долама!»

«Ваљда, чедо, помркује
какав стари брест!»
Ал’ у цури све силније
зла се буди свест.

И опет се задимио
жути ћилибар,
и опет се поновио
чудновати шар.

«Зар не видиш облак црни?
Зло је по нама!
Мрко чело, мрки брци,
мрка долама».

ты само ещё не знаешь,
то плетёшь, то распускаешь
между явью и меж сном.

Моё сердце, сердце злое,
чтоб тебя ударил гром!
не даёшь мне позволенья
кружев разгадать смятенье
между явью и меж сном!

Дым

Кто посасывает трубку
важно, не спеша,
обнимаючи голубку?
Сам Селим-паша!

С ним прекрасная гяурка...
Коромыслом дым!
Чёрен потолок, как чурка,
над плечом крутым.

Дым выводит, вьётся-свищет
вензелей обман:
длинное ружьё, усищи,
чёрный доломан...

— Погляди, паша, скорее!
Не пойму сама:
ружья там, усы чернеют,
доломанов тьма?..

— Что, дитя, тебя тревожит?
Там лишь вяз... — Но ах!
Всё сильнее сердце гложет
безотчётный страх.

Над янтарной трубкой вьётся,
развлекает взор,
только в руки не даётся
сумрачный узор.

— Неужель не слышишь — ропот,
гул и гром грозы?
Чёрных доломанов пропасть,
ружья и усы! —

Селим-паша мирно пије
жути ћилибар, —
све се гушће стаклом вије
чудновати шар.

«Леле мени, жалосници,
сад је баш одја'о!»
Тек што рече, на ложници
шкрипну врата — јао! —

Шкрипну врата на дворани
шумом, шкрипетом,
међ довраци јунак стоји
с пушком запетом.

Оклоп-лула, чибук црни
цев је голема,
мрко чело, мрки брци,
мрка долама.

Задимио чибук страшни
нештедимице,
на прозору дим се вије,
чак до гредице.

Буновно се дим за димом
вије ко и пре,
на прозору слике шара
од којих се мре.

Рајо, тужна рајо...

Рајо, тужна рајо, кад се тебе сетим,
не бих да ти певам, већ бих да те светим.

Да те светим, света горо, облистана
од увела, бледа, турска ђулистана.

Што му вене ружа већ под гором црном,
па опет кукавну земљу копа трном.

Из туђег је света, престала да руди,
па би да се шкропи из крвавих груди.

Ej, а де је сунце, да се њиме суше
те крваве капље са увеле руже?

Но паша в ответ смеётся
да целует: «Вздор!»
Только дым всё гуще вьется,
всё мрачней узор.

— Вот и пробил час прощальный!
И не счесть потерь! —
И в ответ в опочивальне
распахнулась дверь.

Всё как рухнуло куда-то:
кто одет? кто наг?
И в дверях предстал усатый
молодой юнак.

— Ты зачем, юнак нескромный,
к нам сюда вошёл?
Что ж чубук такой огромный?
Чёрен так, тяжел? —

Но чубук как пыхнет жаром —
и оттуда дым!..
Знать, юнак пришёл недаром —
на погибель им!

...И дымы всё гуще вьются,
слившись в круговерть.
Всё страшней узоры льются,
захлестнут — и смерть.

Братья-христиане...

Братья-христиане, вам песен не пою я,
вас я вспоминаю — за вас отомщу я.

Отомщу я за тебя, о, гора святая,
турецким розарием тусклым залитая.

Увядает роза под горою чёрной,
земля наша бедная зарастает тёрном.

Роза в мире чужом алеть не желает,
даже когда кровь её окропляет.

Эй, да где же солнце, пусть оно откроет
в той увядшей розе капли вашей крови!

Да осуши капље, да ружу изгори,
да остане за њом тек мирис у гори.

Из тога мириса песма да заори
кад се јарко сунце занавек разгори.

Ej, а де је сунце? питам српске горе,
а оне ми веле: и у теби, море!

Рајо, тужна рајо, кад се тога сетим,
не бих да ти певам, већ бих да те светим.

Дон Кихоту

Кад зареде нове беде,
кад се смркну бели дани,
кад потамне и побледе
зраци надом изасјани,
непогода невидовна
кад ми сломи крила пловна,
па, док снова не узлетим,
хоћу мало заветрине,
тад се навек тебе сетим,
будалине Саведрине.

Кад ме лепо чедо мамне,
те за њоме свест заблуди,
мрежом густом косе прамне
заклони ми поглед људи,
мраком светлим очи тамне
ужгу сунце ми у груди,
па кад махом сунце зађе,
а с очију мрежа сађе,
у облаку мојих јада
једна ми је паведрина:
знадем како и ти страда,
будалино Саведрина!

У скупштини кад се гаја
дигне на глас мудре речи,
мора да се ум притаја
кад се лудост пред њим печи,
у жестини окршаја
ветрењача многа звечи,
кад је глави друго место,
а трбух се за све брине:
сећам те се врло често,
будалине Саведрине.

Пусть её овеет палящим сияньем,
чтобы роза была лишь благоуханьем.

В том благоуханье вновь песня возродится,
если солнце навсегда жарко разгорится.

«Эй, да где же солнце!» — закричал я, но
горы сербские сказали: «И в тебе оно!»

Братья-христиане, вам песен не пою я,
вас я вспоминаю — за вас отомщу я.

Дон Кихоту

Как зарядят снова беды,
как померкнут дни и ночи,
как погаснет луч победы,
а ненастье глянет в очи,
как крыло заломит буря,
свергнет с неба в омут бурый
(поднимусь ли я — не знаю,
хоть укрыться бы от ветра), —
так тебя я вспоминаю,
стойкий рыцарь Сааведры.

Как оглянется красотка,
и замечется мой разум,
смех прогонит, будто плёткой,
стыд с благоразумьем разом,
как девчонка, вырвав чётки,
подмигнёт лукавым глазом,
а потом оставит — вижу:
не люблю, не ненавижу,
просто снова обознался,
Пенелопа ль это, Федра... —
вспомню: так же ошибался
пылкий рыцарь Сааведры.

Как закаркают вороны,
возмутившись мудрым словом,
ум забьётся в оборону
от безумцев наглых снова,
мельница гремит сурово
сквозь горячку боя злого
(там утроба — не наполнить,
в голове сплошные ветры), —
как тут о тебе не вспомнить,
славный рыцарь Сааведры!

Кад се после дуге ноћи
јаве зраци нове зоре,
те помислим сад ће доћи
слобода на наше горе,
да ће хтети, ко ће моћи,
дићи народ Богу горе,
те ће бити један, срећан,
неће бити Саве, Дрине,
и опет се тебе сећам,
будалине Саведрине!

Ал' кад видим паметаре
где с' клањају шупљој сили;
кад јунаке видим старе
где их скотска наслад гњили,
те сад оно пале, жаре,
чем' су били борци чили;
да желуцу није сметње,
мач отпашу са бедрине: —
таке слике нису вредне
будалине Саведрине.

Santa Maria della Salute

Опрости, мајко света, опрости,
што наших гора пожалих бор,
на ком се, устук свакоје злости,
блаженој теби подиже двор;
презри, небеснице, врело милости,
што ти земаљски сагреши створ:
кајан ти љубим пречисте скуте,
Santa Maria della Salute.

Зар није лепше носит лепоту,
сводова твојих постати стуб,
него грејући светску грехоту
у пеп'о спалит срце и луб;
тонут о броду, трунут у плоту,
ђаволу јелу а врагу дуб?
Зар није лепше вековат у те,
Santa Maria della Salute?

Опрости, мајко, много сам страд'о,
многе сам грехе покај'о ја;
све што је срце снивало младо,
све је то јаве сломио ма';

Если после долгой ночи
        всё ж взыграют в небе зори,
и рассудка вольный почерк
        упразднит вражду и ссоры,
и свобода захлопочет,
        исцеляя наши горы,
где народ предстанет счастлив
        (ведь границы нет ни метра!), —
вижу в том твоё участье,
        мудрый рыцарь Сааведры.

Но когда смотрю я: старец
        позабыл былую доблесть,
люди с памятью вдруг стали
        прихвостнями лжи и догмы,
светлые сердца из стали
        полонил желудок добрый
(меч с бедра — долой, чтоб вольно
        наслаждаться снедью щедрой), —
стыдно пред тобою, больно, —
        славный рыцарь Сааведры!

Santa Maria della Salute*

Матерь святая, прости мне, прости,
        что к твоему я приблизился храму;
он мне открылся на долгом пути,
        вписан строителем в горнюю раму.
Грешник, как жаждал его я найти,
        как торопился к нему я упрямо.
Жизнь моя ныне меняется круто,
Santa Maria della Salute.

Разве не лучше нести красоту,
        быть не жердиной гнилого забора,
а устремившись душой в высоту,
        стать величавой колонной собора;
разве не лучше лелеять мечту,
        чем предаваться угрюмому спору?
Века длиннее святая минута,
Santa Maria della Salute.

Матерь святая, я много страдал,
        мерзостей всяких я видел немало,
всё, что я в сладких мечтах нагадал,
        горькая явь у меня отнимала.

* Во славу Святой Марии *(ит.)*.

за чим сам чезн'о, чему се над'о,
све је то давно пеп'о и пра'
на угод живу пакости жуте,
Santa Maria della Salute.

Тровало ме је подмукло, гњило,
ал' ипак нећу никога клет;
што год је муке на мене било,
да никог за то не криви свет.
Јер, што је души ломило крило,
те јој у јеку душило лет,
све је то с ове главе са луде,
Santa Maria della Salute!

Тад моја вила преда ме грану,
лепше је овај не виде вид;
из црног мрака дивна ми свану,
к'о песма славља у зорин свит,
сваку ми махом залечи рану,
ал' тежој рани настаде брид.
Шта ћу од миља, од муке љуте,
Santa Maria della Salute?

Она ме гледну. У душу свесну
још никад такав не сину глед;
тим би, што из тог погледа кресну,
свих васиона стопила лед,
све ми то нуди за чим год чезну',
јаде па сладе, чемер па мед,
сву своју душу, све своје жуде,
— сву вечност за те, дивни тренуте! —
Santa Maria della Salute.

Зар мени јадном сва та дивота?
Зар мени благо толико све?
Зар мени старом, на дну живота,
та златна воћка што сад тек зре?
Ох, слатка воћко танталска рода,
што ниси мени сазрела пре?
Опрости моје грешне залуте,
Santa Maria della Salute.

Две се у мени побише силе,
мозак и срце, памет и сласт.
Дуго су бојак страховит биле,
к'о бесни олуј и стари храст.
Напокон силе сусташе миле,
вијугав мозак одржа власт,

Чтобы я дьяволу душу отдал,
мгла запустенья меня обнимала,
в сердце вгрызались сомнения люто,
Santa Maria della Salute.

Но никого не кляну, не виню
за пережитые долгие муки.
Я благодарен живому огню,
что опалил мои старые руки.
В скорбной душе навсегда сохраню
первых молений высокие звуки.
Мгла расточилась, разорваны путы,
Santa Maria della Salute.

Дивная вила взошла надо мной,
светлое чудо из мрака явилось,
словно над дальней грядою лесной
радуга вдруг зацвела, засветилась,
словно из дремлющей рощи ночной
вдруг соловьиная песня родилась.
Пряно запахла весенняя рута,
Santa Maria della Salute.

Нету спасенья от этой любви,
всё в ней — и горечь, и боль, и услада,
пламя восторга бушует в крови,
пылкому сердцу спасенья не надо.
Жизнь за мгновенье отдам, позови,
испепеленье мне будет отрадой;
жертвую вечностью ради минуты,
Santa Maria della Salute.

Разве нужна старику красота,
думаю я иногда в укоризне,
разве уже не подбиты счета
всей моей грешной и горестной жизни?
Как запоздала созреть ты, мечта!
Соком на душу усталую брызни,
искрой сверкни над серостью трута,
Santa Maria della Salute.

В долгом сраженье схватились во мне
сердце и мозг, наслажденье и разум,
так же, как сходятся в вечной войне
яростный ветер с раскидистым вязом.
Мозг победил моё сердце вполне,
верил я больше не чувствам, а фразам,

разлог и запон памети худе,
Santa Maria della Salute.

Памет ме стегну, ја срце стисну,
утекох мудро од среће, луд,
утекох од ње — а она свисну.
Помрча сунце, вечита студ,
гасnуше звезде, рај у плач бризну,
смак света наста и страшни суд.
О, светски сломе, о страшни суде,
Santa Maria della Salute!

У срцу сломљен, збуњен у глави,
спомен је њезин свети ми храм.
Тад ми се она одонуд јави,
к'о да се Бог ми појави сам:
у души бола лед ми се крави,
кроз њу сад видим, од ње све знам
зашто се мудрачки мозгови муте,
Santa Maria della Salute.

Дође ми у сну. Не кад је зове
силних ми жеља наврели рој,
она ми дође кад њојзи гове,
тајне су силе слушкиње њој.
Навек су са њом појаве нове,
земних милина небески крој.
Тако ми до ње простире путе,
Santa Maria della Salute.

У нас је све к'о у мужа и жене,
само што није брига и рад,
све су милине, ал' нежежене,
страст нам се блажи у рајски хлад;
старија она сад је од мене,
тамо ћу бити доста јој млад
где свих времена разлике ћуте,
Santa Maria della Salute.

А наша деца песме су моје,
тих састанака вечити траг;
то се не пише, то се не поје,
само што душом пробије зрак.
То разумемо само нас двоје,
то је и рају приновак драг,
то тек у заносу пророци слуте,
Santa Maria della Salute.

разум стал главной моею валютой,
Santa Maria della Salute.

Разум мне сердце запретами сжал,
разум мне корма подкидывал в ясли.
Я как безумный от счастья бежал.
Солнце померкло, и звёзды погасли.
Сумрак унылый меня окружал.
Знал я одну лишь молитву — без страсти.
Хаос сменился бессильем уюта,
Santa Maria della Salute!

Память меня возвращает порой
к тем запустелым священным руинам.
Встанет былое, как храм под горой,
густо заросший вербеной и тмином.
Сквозь сожаленье иду, как сквозь строй,
к Богу иду по знакомым долинам,
к ней возвращаюсь из сумрака смуты,
Santa Maria della Salute.

К ней отлетает мечтанье моё
роем нахлынувших воспоминаний.
Тайные силы — служанки её,
добрые феи запретных желаний.
Логика, все твои страхи — враньё,
я обойдусь без твоих указаний.
Мгла расточилась, разорваны путы,
Santa Maria della Salute.

С ней мы отныне — как муж и жена:
счастье без муки, страсти без зноя,
нашей любви золотая страна —
в райской прохладе, как роща весною.
Кто из нас опытней — я иль она? —
узнано будет и ею и мною
там, где уравнены век и минута,
Santa Maria della Salute.

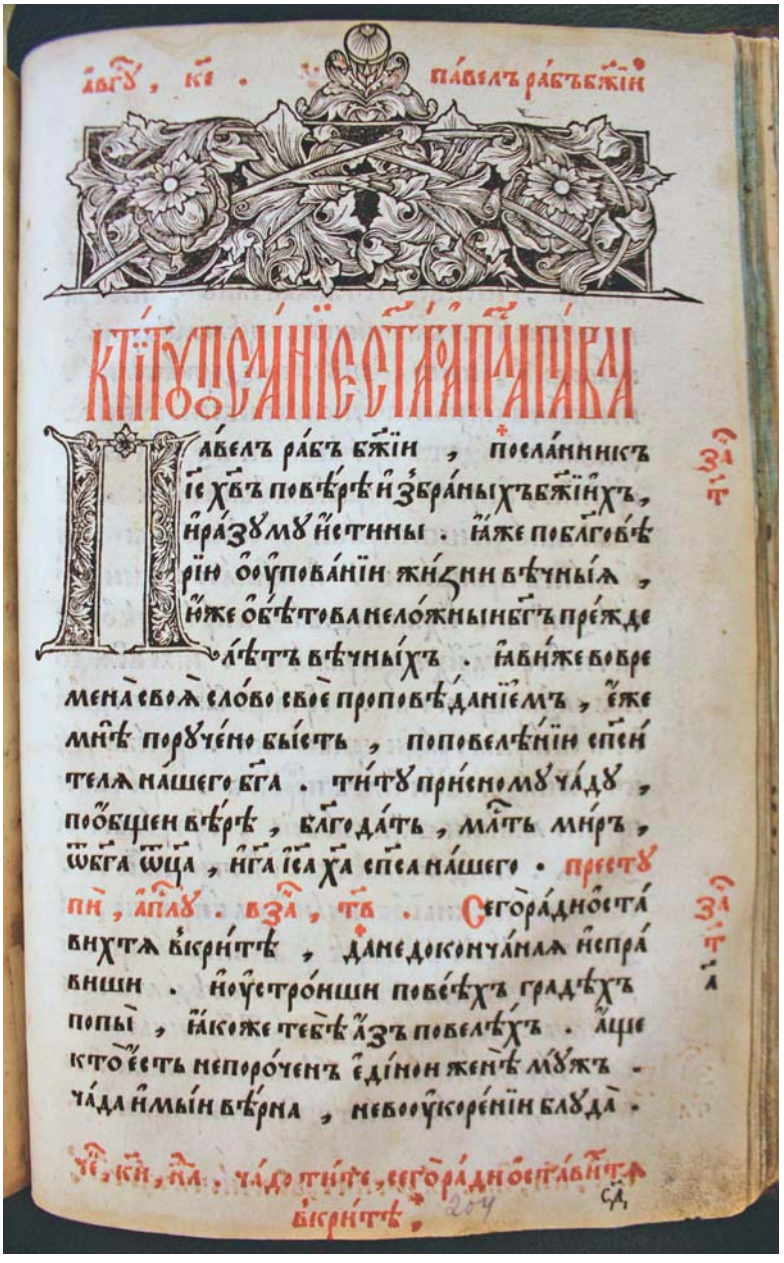
Песни мои — наши общие дети,
дети мечтаний и дети свиданий;
только мы двое и знаем на свете,
кто победитель, а кто из нас данник,
кто и когда пробуждает в поэте
новую музыку новых созданий.
В миг прорицанья пророки поймут их,
Santa Maria della Salute.

А кад ми дође да прсне глава
од тог живота хридовит крај,
најлепши сан ми постаће јава,
мој ропац њено: «Ево ме, нај!»
Из ништавила у славу слава,
из безњенице у рај, у рај!
У рај, у рај, у њезин загрљај!
Све ће се жеље ту да пробуде,
душине жице све да прогуде,
задивићемо светске колуте,
богове силне, камоли људе,
звездама ћемо померит путе,
сунцима засут сељенске студе,
да у све куте зоре заруде,
да од милине дуси полуде,
Santa Maria della Salute.

Время придёт, и моя голова
треснет, ударясь об угол эпохи.
В хрипе предсмертном услышу слова:
«Вот она я!». А не «ахи» и «охи».
Молодость, ты бесконечно права,
не соблазняясь на жалкие крохи.
Мы удивим и людей, и богов,
вызволим души из тяжких оков,
выйдут желанья из всех берегов,
страхи покинут жилище мозгов,
всюду растопится стужа снегов,
вспыхнут цветы всех весенних лугов,
звезды сойдут с орбитальных кругов,
вмиг обессилеет сила врагов,
души спасутся от ярости лютой,
Santa Maria della Salute.



№ 90. Четвероевангелие. Москва, ок. 1558. РГБ. Инв. 3954



№ 113. Апостол. Москва, 1 марта 1564. Л. 204



№ 120. Молитвенник-соборник. Венеция, 30 авг. 1566.
Л. 67 об. (Св. Георгий Победоносец)